

ГЕНРИ МИЛЛЕР

ТРОПИК РАКА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44
М 60

Серия «Эксклюзивная классика»

Henry Valentine Miller
TROPIC OF CANCER

Перевод с английского *Г. Егорова*

Серийное оформление *Е. Фerez*

Печатается с разрешения

The Estate of Henry Miller и литературного агентства
Agence Hoffman.

Книга содержит нецензурную брань

Миллер, Генри.

М 60 Тропик Рака : [роман] / Генри Миллер ; [пер.
с англ. Г. Егорова]. — Москва : Издательство АСТ,
2015. — 384 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-087536-8

Роман, воплощенный в талантливом фильме Ф. Кауфмана
«Генри и Джун».

Это рассказ о человеке, который, не сумев адаптироваться
к жизни в кругу бруклинских иммигрантов, из семьи которых он
родом, стал добровольным изгоем из своего погрязшего в матери-
альных заботах отечества, не питающим иллюзий о перспективах
развития цивилизации...

Джо одержим желанием создать книгу, и им движет мощное
духовное начало, парадоксально уживающееся в его натуре с жи-
вотным инстинктом, превращая шокирующий физиологичностью
деталей рассказ о бытие в красочную историю о любви и ненави-
сти, творчестве и безумии...

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

© Henry Miller, The Estate of Henry
Miller, 1934

© Перевод. Г. Егоров, 2014

© Издание на русском языке AST
Publishers, 2015

ISBN 978-5-17-087536-8

Эти романы постепенно уступят место дневникам и автобиографиям, которые могут стать пленительными книгами, если только человек знает, как выбрать из того, что он называет своим опытом, то, что действительно есть его опыт, и как записать эту правду собственной жизни правдиво.

Ральф Уолдо Эмерсон

I

Я живу на вилле Боргезе. Кругом — ни соринки, все стулья на местах. Мы здесь одни, и мы — мертвецы.

Вчера вечером Борис обнаружил вшей. Пришлось побрить ему подмышки, но даже после этого чесотка не прекратилась. Как это можно так завшиветь в таком чистом месте? Но не суть. Без этих вшей мы не сошлись бы с Борисом так коротко.

Борис только что изложил мне свою точку зрения. Он — предсказатель погоды. Непогода будет продолжаться, говорит он. Нас ждут неслыханные потрясения, неслыханные убийства, неслыханное отчаяние. Ни малейшего улучшения погоды нигде не предвидится. Рак времени продолжает разъедать нас. Все наши герои или уже прикончили себя, или занимаются этим сейчас. Следовательно, настоящий герой — это вовсе не Время, это Отсутствие времени. Нам надо идти в ногу, равняя шаг, по дороге в тюрьму смерти. Побег невозможен. Погода не переменится.

Это уже моя вторая осень в Париже. Я никогда не мог понять, зачем меня сюда принесло.

У меня ни работы, ни сбережений, ни надежд. Я — счастливейший человек в мире. Год назад, даже полгода, я думал, что я писатель. Сейчас я об этом уже не думаю, просто я писатель. Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава богу, писать книг больше не надо.

В таком случае как же рассматривать это произведение? Это не книга. Это — клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в привычном смысле слова. Нет! Это затаянное оскорбление, плевков в морду Искусству, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте... всему, чему хотите. Я буду для вас петь слегка не в тоне, но все же петь. Я буду петь, пока вы подыхаете; я буду танцевать над вашим грязным трупом...

Но чтобы петь, нужно открыть рот. Нужно иметь пару здоровых легких и некоторое знание музыки. Не существенно, есть ли у тебя при этом аккордеон или гитара. Важно желание петь. В таком случае это произведение — Песнь. Я пою.

Я пою для тебя, Таня. Мне хотелось бы петь лучше, мелодичнее, но тогда ты скорее всего не стала бы меня слушать вовсе. Ты слыхала, как пели другие, но это тебя не тронуло. Они пели или слишком хорошо, или недостаточно хорошо.

Сегодня двадцать какое-то октября. Я перестал следить за календарем. Может быть, ты назовешь это моим сном, продолжающимся с четырнадца-

того ноября прошлого года. В нем есть пробелы, но это пробелы между снами, и сознание скользит мимо них. Мир вокруг меня растворяется, оставляя тут и там островки времени. Мир — это сам себя пожирающий рак... Я думаю, что, когда на все и вся снизойдет великая тишина, музыка наконец восторжествует. Когда все снова всосется в матку времени, хаос вернется на землю, а хаос — это партитура действительности. Ты, Таня, — мой хаос. Поэтому-то я и пою. Собственно, это даже и не я, а умирающий мир, с которого сползает кожа времени. Но я сам еще жив и барахтаюсь в твоей матке, и это моя действительность.

Дремлю... Физиология любви. Отдыхающий кит со своим двухметровым пенисом. Летучая мышь — *penis libre*. Животные с костью в пенисе. Следовательно, «костостой»... «К счастью, — говорит Гурмон, — костяная структура утрачена человеком». К счастью? Конечно, к счастью. Представьте себе человечество, ходящее с костостоем. У кенгуру два пениса — один для будней, другой для праздников. Дремлю... Письмо от женщины, спрашивающей меня, нашел ли я название для моей книги. Название? Конечно: «Прекрасные лесбиянки».

Ваша анекдотическая жизнь. Это фраза господина Боровского. Я завтракал с ним в среду. Его жена — высохшая корова — во главе стола. Она учит сейчас английский. И ее любимое слово — «filthy», что значит «грязный», «отвратительный», «мерзкий». Вам не понадобится много времени, чтоб разобраться, что это за язвы на заднице, эти Боровские. Но подождите...

Боровский носит плисовые костюмы и играет на аккордеоне. Неотразимое сочетание, особенно если учесть, что он неплохой художник. Он уверяет, что он поляк, но это, конечно, неправда. Он — еврей, этот Боровский, и его отец был филателистом. Вообще весь Монпарнас — сплошные евреи. Или полуевреи, что даже хуже. И Карл, и Пола, и Кронстадт, и Борис, и Таня, и Сильвестр, и Молдорф, и Люсиль. Все, кроме Филмора. Генри Джордан Освальд тоже оказался евреем. Луи Николс — еврей. Даже ван Норден и Шери — евреи. Фрэнсис Блейк — еврей или еврейка. Титус — еврей. Я засыпан евреями, как снегом. Я пишу это для своего приятеля Карла, отец которого тоже еврей. Это все необходимо понять.

Из всех этих евреев самая очаровательная — Таня, и ради нее я бы сам стал евреем. А почему нет? Я уже говорю как еврей. Я безобразен, как еврей. Кроме того, кто может ненавидеть евреев так, как еврей?

Предвечерний час. Индиго, стеклянная вода, блестящие, расплывчатые деревья. Возле авеню Жореса рельсы сливаются с каналом. Длинная гусеница с лакированными боками извивается, как «американские горы» луна-парка. Это не Париж. Это не Кони-Айленд. Это — сумеречная смесь всех городов Европы и Центральной Америки. Подомной — железнодорожные депо, черная клетчатка рельсов, как будто не спланированная инженерами, а раскинутая причудливым узором, вроде тех тонких трещин на полярном льду, которые запечатлеваются на фотографиях во всех градациях черного цвета.

Жратва — вот единственное, что доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие. А на нашей великолепной вилле Боргезе не найдешь даже завалящей корочки. Временами это положительно ужасно. Я много раз просил Бориса заказывать хлеб к завтраку, но он всегда забывает. Он, очевидно, завтракает не дома. Возвращаясь, он ковыряет в зубах, и в его эспаньолке — остатки яйца. Оказывается, он ходит в ресторан из деликатности — ему, видите ли, тяжело уплетать сытный завтрак на моих глазах.

Мне нравится ван Норден, но я не разделяю его мнения о самом себе. Я не считаю, например, что он мыслитель или философ. Он просто человек, помешанный на манде. И из него никогда не выйдет писателя. Сильвестр тоже никогда не будет писателем, даже если бы его имя сияло огромными красными, в пятьдесят тысяч свечей, электрическими буквами. Как писателей я признаю только Карла и Бориса. Они одержимые. Их пожирает жгучее белое пламя. Они сумасшедшие, но у них нет слуха. Они — мученики.

С другой стороны, Молдорф — тоже мученик, но он далеко не сумасшедший. У Молдорфа просто словесный понос. У него нет ни кровеносных сосудов, ни сердца, ни почек. Это какой-то письменный стол, бюро с бесконечными ящичками, а на ящичках — ярлыки, надписанные белыми, черными, лиловыми, коричневыми и синими чернилами, шафраном, лазурью, бирюзой, кораллом, бисером, киноварью, ярью-медянкой, охрой, ониксом, сиеной, канителью, селедкой, сыром горгонцолой, анжуйским вином...

Взяв машинку, я перешел в другую комнату. Здесь я могу видеть себя в зеркале, когда пишу.

Таня похожа на Ирен. Ей нужны толстые письма. Но есть и другая Таня. Таня — огромный плод, рассыпающий вокруг свои семена, или, скажем, фрагмент Толстого, сцена в конюшне, где закапывают младенца. Таня — это лихорадка, стоки для мочи, кафе «Де ла Либерте», площадь Вогезов, яркие галстуки на бульваре Монпарнас, мрак уборных, сухой портвейн, сигареты «Абдулла», Патетическая соната, звукоусилители, вечера анекдотов, груди, подкрашенные сиеной, широкие подвязки, «который час?», золотые фазаны, фаршированные каштанами, дамские пальчики, туманные, сползающие в ночь сумраки, слоновая болезнь, рак и бред, теплые покрывала, покерные фишки, кровавые ковры и мягкие бедра... Таня говорит так, чтобы ее все слышали: «Я люблю его!» И пока Борис сжигает свои внутренности виски, она произносит целую речь, обращенную к нему: «Садитесь сюда... О Борис... Россия... Что я могу поделывать?! Я полна ею!»

Ночью, глядя на эспаньолку Бориса, лежащую на подушке, я начинаю хохотать... О Таня, где сейчас твоя теплая пизденка, твои широкие подвязки, твои мягкие полные ляжки? В моей палице кость длиной шесть дюймов. Я разглажу все складки и складочки между твоих ног, моя разбухшая от семени Таня... Я пошлю тебя домой к твоему Сильвестру с болью внизу живота и с вывернутой наизнанку маткой... Твой Сильвестр! Он знает, как развести огонь, а я знаю, как заставить его гореть.

Я вливаю в тебя горячие струи, Таня, я заряжаю твои яичники белым огнем. Твой Сильвестр немного ревнует тебя? Он что-то заподозрил? Что-то чувствует? Он чувствует в тебе, Таня, следы моего большого члена. Я разутюжил твои бедра, разгладил все морщинки между ногами. После меня ты можешь свободно совокупляться с жеребцами, быками, баранами, селезнями, сенбернарами. Ты можешь засовывать лягушек, летучих мышей и ящериц в задний проход. Ты можешь срать, точно играть арпеджио, а на пупок натягивать струны цитры. Когда я ебу тебя, Таня, я делаю это всерьез и надолго. И если ты стесняешься публики, то мы опустим занавес. Но несколько волосков с твоей пизденки я наклею на подбородок Бориса. И я вгрызусь в твой секель и буду сплевывать двухфранковые монеты...

Темно-синее небо с начисто выметенными барашками облаков. Тощие деревья, уходящие в бесконечность, их голые черные ветви, жестикулирующие, точно пьяные актеры... Серьезные и призрачные, со стволами бледными, как сигарный пепел. Величавая тишина. Европейская тишина. Закрытые ставни и лавки. И везде короткие красные сигаретные вспышки — любовные свидания. Но фасады домов слепы, девственно строги, если б не тень, брошенная на них деревьями... Проходя мимо Оранжереи, я вспоминаю другой Париж. Париж Моза и Гогена, Париж Джорджа Мура. Я думаю об ужасном испанце, который поражал мир своими акробатическими прыжками из одного

стиля в другой. Я думаю о Шпенглере с его путающими изречениями, и мне кажется, что «стиль», «великая школа» фактически кончились. Я говорю «я думаю» — но это неточно. Я позволяю себе думать об этом, лишь перейдя через Сену и оставив позади карнавал электрических огней. Сейчас же, напротив, я не думаю ни о чем. Я — абсолютное чувство, человек, подавленный чудом этих вод, отражающих в себе забытый мир. Склонившиеся деревья смотрятся в мутное зеркало реки. Набегает ветер и наполняет их тихим шепотом, и они роняют слезы в струящуюся воду. Я задыхаюсь от этой красоты. И нет никого в мире, кому бы я мог передать хоть частичку своих чувств...

Проблема в том, что у Ирен не обыкновенное влагалище, а саквояж, и его надо набивать толстыми письмами. Чем толще и длиннее, тем лучше: *avec des choses inouies*¹. Вот Илона — это просто воплощенная манда. Я знаю это, потому что она прислала нам несколько волосков с нее. Илона — дикая ослица, вынюхивающая наслаждения. На каждом холме она разыгрывала блудницу, а иногда и в телефонных будках и в клозетах. Она купила кровать для короля Карола и кружку для бритья с его инициалами. Она лежала в Лондоне на Тоттнем-роуд и, задрав юбку, дровича. В ход шло все — свечи, шутихи, дверные ручки. Во всей стране не было ни одного фаллоса, который подошел бы ей по размерам... Ни одного. Мужчины влез-

¹ Неслыханных размеров (*фр.*).

ли в нее целиком и сворачивались калачиком. Ей нужны были раздвижные фаллосы — не фаллосы, а самовзрывающиеся ракеты, кипящее масло с сургучом и креозотом. Она бы отрезала тебе член и оставила его в себе навсегда, если б ты ей только позволил. Это была одна пизда из миллиона, эта Илона! Лабораторный экземпляр — и вряд ли на свете найдется лакмусовая бумага, с помощью которой можно было бы воспроизвести ее цвет. К тому же она была врунья. Она никогда не покупала кровать своему королю Каролу. Она короновала его бутылкой из-под виски по голове, и ее глотка была полна лжи и фальшивых обещаний. Бедный Карол... он мог только свернуться калачиком внутри ее и помереть там. Она вздохнула — и он выпал оттуда, как дохлый моллюск.

Огромные толстые письма, avec des choses inouïes. Саквояж без ручек. Скважина без ключа. У нее был немецкий рот, французские уши и русская задница. Пизда — интернациональная. Когда поднимался ваш флаг, она краснела до макушки. Вы входили в нее на бульваре Жюлья Ферри, а выходили у Порт-де-Вилле. Вы набрасывали свои потроха на гильотинную повозку — красную повозку и, конечно, с двумя колесами. Есть одно место, где сливаются реки Марна и Урк, где вода, сползши с плотины, застывает под мостами, точно стекло. Там сейчас лежит Илона, и канал забит стеклом и щепками; плачут мимозы, и окна запотели туманным бздежем. Илона — единственная из миллиона! Пизда и стеклянная задница, в которой вы можете прочесть всю историю Средних веков.

На первый взгляд Молдорф — карикатура на человека. Глазки — щитовидные железы. Губы — шины «Мишлен». Голос — гороховый суп. Под жилетом у него маленькая груша вместо сердца. С какой бы стороны вы на него ни посмотрели, вид одинаковый — вычурная табакерка, набалдашник слоновой кости, шахматная фигурка, барельеф старого храма, веер. Он до такой степени перебродил внутри, что потерял всякую форму и значение. Он — дрожжи без дрожжевого грибка, горшок без фикуса.

За всю историю человечества женщины по-настоящему оплодотворялись дважды — в девятом столетии и еще раз в Ренессанс. В эпохи Великого переселения народов Молдорфа носили в желтых и белых животах. Задолго до Исхода в его кровь плюнул еще и татарин.

Дилемма, перед которой оказывается Молдорф, — это дилемма каждого карлика. Своими выпученными глазками он видит собственный силуэт, спроецированный на огромный экран. Голос Молдорфа, вполне соответствующий его ублюдочным размерам, опьяняет его. Он слышит рев, когда все слышат писк.

А его ум? Это театр, где искусный актер играет сразу все роли. Молдорф разнообразно и точно играет клоуна, жонглера, акробата, священника, сладострастника, жулика. Театр для него слишком мал. Он взрывает его динамитом. Публика наэлектризована. Он добивает ее.

Я много раз пытался приблизиться к Молдорфу, но это — как приблизиться к Богу. Молдорф —

это Бог, и он никогда не был никем другим. Я просто пишу пустые слова...

Свои прежние суждения о нем я отбросил. Сейчас я думаю иначе, но всякий раз по-другому. Когда я насадил его на булавку, я понял только одно — это не навозный жук, а стрекоза. Он часто оскорбляет меня своей грубостью, а потом уничтожает вежливостью. Он может болтать, пока вы не начнете задыхаться, а потом сделаться тихим, как Иордан.

Когда он трусит ко мне, распростерши свои лапки и мигая своими потными глазами, мне кажется, что навстречу идет... Нет, все это не так надо описывать!

«Comme une œuf dansant sur un jet d'eau»¹.

У него всего лишь одна тросточка. В кармане — рецепты Weltschmerz². Он уже вылечился, и маленькая немецкая девочка, мывшая ему ноги, ходит теперь с разбитым сердцем. Он как господин Ничтожество, который таскал повсюду словарь языка гуджарати: «Неизбежно для каждого», что, разумеется, означало «необходимо». Боровский не понял бы всего этого. У Боровского специальная тросточка для каждого дня недели и еще одна для Пасхи.

Вместе с тем у нас так много общего, что, когда я смотрю на него, мне кажется, что это мое отражение в треснувшем зеркале.

Я просмотрел свои рукописи — страницы, испещренные пометками. Страницы литературы.

¹ Как яйцо, подпрыгивающее в струе воды (фр.).

² Мировая скорбь (нем.).